

О

х, и гуляет ветер по осенним переулкам, в стекла оконные стучит, дробь такую выбивает, что в том дроботаньи услышишь всякое...

Особенно на переломе времени к ночи, в сүтенках, когда с днем изжитым расстаешься опечаленно. В той печали и привидится такое, о чем только душа и вспомнит, да не скажет словом человеческим, а намеком встревожит.

И стоишь тогда перед окном, память свою распутывая, как клубок шерсти тонкой, авось за что зацепится...

А память та... Кто б ее видел, ту память хитромудрую? Змеей ползет, клубок раскручивает и сама запутывается. Одиноким шляхом ползет память, нет ей никакого дела до намеков души, вот душа и не успокоится никак, волнуется, в тех сутенках ищет чего-то. А спроси — чего тебе, душа, надобно, она — ни слова. Поскольку на своем наречии изъясняется. Только догадками с ней и договариваешься, чтобы опомниться и вернуться в привычность обитания, где комната как комната, окно с гардиной узорчатой... Тепло в жилье человеческом...

А как выйдешь из того жилья, то на такое наткнуться можно... Одна неизвестность в тех переулках, где столько людей блуждали по жизни с душами сумрачными и неизъяснимыми...

И не могло стать так, чтоб без следа те блуждания исчезли: по всем законам сохранения природы такое не предусмотрено.

Вот по тем следам, стоя у окна в задумчивости, и отпускаешь летать душу, а она так волнуется...

В такие сутенки случается с людьми всякое странное, о чем рассказывают потом, недоумевая, отчего и почему... Все вокруг да около, догадками...

И вокруг той садыбы, что названа в округе казачкиной, столько всякого развелось разговору, что и время пришло непредвзятому моему изложению...

Надо сказать, у нас на горке городищенской все переулки кличут казачьими. Только чтобы особу какую по названию местности именовали, такого и не бывало отродясь. А она, как появилась здесь, так и прилипло к ней прозвище — Казачка. За характерность яркую, мимо которой не пройдешь без волнения — как цветок после дождя головка гладковолосая блестит, лицо выразительности опасной, брови особенным выгибом аж до висков дотянулись. И статью горделива так...

А супруг ее... Однако ж, забегая наперед, сказать можно, что не всякая внешность соответствует человеку. Вот так и с ним. Прозвище было у него наследственное — Упырь, по батюшке его, который славился своим характером невероятным. Приписывали ему злую силу на сглаз, будто многие от той его способности убытки понесли. Хоть то дело прошлое, а все ж характерность отца и сына зацепила прозвищем унаследованным и подкрепленным, однако, одним кощунственным своевољством.

Помнили сыну Упыря, как пожелал он первую супругу свою, родами с младенцем преставившуюся, захоронить в усадьбе собственной. И так решительно намеревался свой сад погостом сделать, что еле и отговорили.

До того мы с ним соседствовали тесно, даже калитку пограничную в заборе проделали для беспрепятственного сообщения, когда нужда хозяйственная имелаась. А как похоронили жену, сосед заперезживал так, что и запил. Одиноко, как в безысходности пьют. Одичал вовсе, так что и на упыря стал похож фигурой ссутулившейся, с головой, как бы без шеи на плечи посаженной. Обходить его стали десятой дорогой встречные, чтоб не зацепил взглядом пронзительным и нездешним.

Меня он тоже не жаловал, когда я, бывало, все ж зайду по-соседски.

А потом и вовсе дом опустел — исчез Упырь в неизвестности.

Только вдруг как-то утром раненько будит меня шум непривычный. Выглядываю, а там сосед — да не один, а с невестою. Невеста фату в руке держит, по траве волочет кружева белые. Тоненькая такая фигурка, пышностью юбки вот-вот переломится в талии. А как разглядел я невесту, так и загрустилось за соседа — только неразумный на такое решится, дочкой глядится невеста при нем. Какой уж тут совет да любовь — один каприз да своеволие необдуманное, известное дело.

Потом, как в обиходе понаблюдал я супругу его, необычайную жалость к ней заимел. Как погляжу на них, таких несхожих рядышком, так и пожалею красоту ее необычайную, за которую из Упыря соседа моего в казачкиного мужа переименовали. А как сосед сам разобрался с собою, чтоб из печали вдовца горького да в радость нового супружества разом перешагнуть, то его дело было — всяк по-своему жизнь изживает, чтобы последствия своевољства тоже на себя взять.

И у меня была характерность такая — хоть кого до веселья мог довести. А чего же угрюмиться к жизни? Она такая — как ты к ней, тем и она

откликнется. Потому и любил я с великим жить. Как встречаюсь с соседкой, так и желаю ее смех услышать, а если не смех, так чтоб хоть улыбкой ободрила.

Недолгое время прошло, и добрососедство свое мы возобновили, стал я уже к ним в дом захаживать беспрепятственно, как свой. И так дружелюбно-говорлива со мной стала соседочка...

Только я в женской дружественности не мастер, больше имею склонность ее на любовную переводить. А в любовных делах была удачливость у меня характерная — мягко она стелила, да жестко спалось потом. Прав имел цыганковатый — свободную веселость особенно уважал в себе, а как не чувствовал куражу с кем, так и начинал в сторону глядеть. Хоть уже и возраст настал с привычной обиходностью свыкнуться, а все никак не утихомирюсь. Имел уже и невесту в ту пору... А как соседка появилась, я уже в раздвоеньи...

В таком настроении зашел как-то к соседу вечером, а там супруга его в одиночестве скучает. Слово за слово — задержался я до темноты. А на улице гроза готовится, ветер в сутенках мечется так, что и шибки оконные дрожат, стекла дребезгом отзываются.

Тут соседка к окошку подходит и, плечиками зябко поводя, говорит: — Как такой ветер, так и вспоминаю наши борá... я ведь у моря жила, там, когда начинаются борá, так людей, бывало, в море сдувало... кого случайно, а кто и сам на набережную выходил, чтоб судьбу его ветер решил...

Странно мне то слышать, и замечаю ей:

— К чему о такой несообразности говорить: живи, пока живется, вот и весь закон.

— А когда не живется? — спрашивает соседочка улыбочиво, а очи волегой таинственностью плещут в меня.

— Когда и не живется, живи. Может, тем судьбу переборешь, — отвечаю.

Она глянула быстро:

— Можно переломить судьбу, — говорит тихенько, будто про себя. — А радости никакой...

И тут тяжкое шевеление кругом сердца начинается у меня. И такая жалобность к ней взгорелась, опасливость даже ощущаю в той волнительности своей. Прежде не было у меня такого никогда, поскольку интересовался обыкновенно бойкими, на радость охочими молодцами. Им моя цыганковатость перекати-поля не в ущерб. А здесь другое. При такой жалости картина может вырисоваться непредвиденная.

Не знаю, как бы дальше все пошло в тот вечер, только вернулся ее супруг досрочно. Заходит он в комнату, где мы вдвоем. И так поглядел... Я, как лицо его увидел, ну, думаю, оплошал я, подвел соседку.

А она будто и не видит его бровей насупленных да глаз, желтыми искрами пляшущих — при обильной смуглоте лица рыжеглаз был сосед, в масть волосам да веснушкам обсыпным. И на эти его искрящие глаза она улыбается легко и навстречу идет.

— А я думала, ты запозднишься, — говорит в простоте. — Гроза наступит.

— Так получилось, — отвечает супруг насупленно и отворачивается повесить фуражку.

А обернулся уже и другим человеком — улыбается дружелюбно, приглашает меня отужинать.

Так удивил он меня той своей изменчивостью быстрой, какая в актерах только бывает безнаказанной. В обиходе, когда же ее встречаешь, от тех людей подальше надо, так и жди непредвиденности. Нет, думаю, неосторожно я поступаю, мне такие сложности в ущерб, подальше надо держаться.

В тот вечер я и решил, что пора мне к добротности жизни прибавляться, свой дом займешь, чтоб в чужие дома не тянуло. И напрямик от соседа выйдя, направился к заждавшейся невесте своей про день свадьбы договариваться.

А скоро и случилось такое... Пошел сосед купаться на речку и не вернулся, одна одежка на берегу от него осталась. Из наших переулков до речки всего только луг и перейти. В жару хорошо освежиться, утомленность сбросить в речную воду. Сосед охочий до того был, а тут пошел — и вот как обернулся тот поход.

Нескоро и нашлось тело утопшего, да таким, что только догадались, кто то и был; однако захоронили, как полагается...

Я про несчастье такое как узнал, то грех, конечно, но не соседа пожалел, от довольства жизненного в неизвестность безвременную перешедшего, а к одинокой его вдовушке жалость моя обострилась до чрезвычайности. Такая жалость, что и о свадьбе своей намеченной пожалел. Все вокруг соседки мысли мои кружатся.

А у нее от горя стала наблюдаться особенная впечатлительность — кошек, жалких до брезгливости, выхаживать стала и нянчиться с ними неумеренно... Или вовсе случилось необычайное, когда нищенку с девочкой-босоножкой в дом свой завела, дите выкупала, одела-обула в чистое и денег дала столько, что бедная жебрачка от ворот бегом удалялась, чтоб не развернули ее и в краже не обвиновали.

Оно-то, несчастье, на душу человеческую по-всякому действует, только как встречу я, бывало, соседку мою любезную, как глянет она блискоушей черноты глазами отчужденно, будто прежде и не соседствовали мы, так и сам бы котом шелудивым стал. Или дитем убогим, чтоб только приласкала она...

Однако до свадьбы дело все ж довел. А от того гулянья в памяти и осталось, как иду от дома своего, шумливого гостями, до калитки пограничной между садыбами нашими. А за той калиткой светлеет кто-то в сутенках, и знаю я точно, кто там украдкой ждет меня. И с веселостью яростной я к ней... И за руку хватаю, а слова с языка не идут, только руку ее стискаю с силою, так что она и шепчет:

— Пусти, больно.

И такой жалостный голосок ее, что становлюсь я на колени и выговариваю быстро:

— А мне как больно, коханая, знаешь... да ты скажи только, и уйду с тобою сейчас, куда поведешь, нет сил моих терпеть, так больно... — И на грудь свою ладонь ее кладу, туда, где сердце стучит молотом.

Она руку отняла и легко по шевелюре моей проведя, улыбается бледно.

— Нет, — говорит, — ты свою жизнь сам решай, тут я тебе не помощница.

Повернулась и пошла к дому. А я вслед гляжу, как в сутенках она исчезает, будто привидение, и холодно мне так, будто уже не здесь, а в зимней бескрайности неприютной нахожусь — ни огонька кругом, будто только я и остался на земле без всякой надежды на человеческую ответность в той пустыне.

Это ж надо такое пережить своим днем свадебным, и ни кончины своей ошибочной, ни погребения безвременного не осознать, а вспоминать только ту встречу тайную с соседкой да удушливость сосновую, от какой грудь разрывалась. И посеючас древесностью сосновой как потянет, чую я, будто на грудь мою кто обруч тугой надевает. Однако терпимо то мучение... А вот как вспомню тот миг, когда уходила моя коханая, те ее шаги от меня как вспомню, такая пустота зимовая в груди, злая пустота... Не знал я, а только догадалась душа, что то не коханая уходит, а сама судьба удаляется от меня, оставляет один на один с той пустелей, от которой хоть во тьму сосновую, хоть куда, все едино...

Однако многое потом осознается, когда напряженность чувств схлынет, а в горячке событий естество человеческое к жизни помимо чувств тянется...

В той горячке после свидания неудачливого и потянулся я до свадебной шумливости... И так, видно, упился, что и помню только, как невеста моя разливалась горестно, как кричали кругом. Все то было слышно мне, только как из сна, и сон такой тяжкий. Потом и вовсе ничего не стало — тьма и тьма.

В ту темень смертную угодил я прямо из-за стола свадебного, чего не предвидел никто, и невеста моя несчастливая про такое и помыслить не могла. Она и уложила меня спать в надежде, что опомнюсь утречком, когда хмель разойдется по телу равномерно и бесчувствие меня отпустит. А когда утром не схлынула нечувствительность моя, она и забеспокоилась, и до докторов дело дошло. Они и признали меня усопшим по всем признакам, а какие то признаки были, это на их совести, что живого человека на погост отправили, во тьму кромешную...

И помню, как на ту тьму смертную, сосной дышащую, я кидался, бился с нею, чтоб до света, что впереди туманился, пробиться.

И откуда-то все ж взялись силы неимоверные во мне, доведенном до последней черты жизненности, что и холмик могильный сотрясался, про живого мертвеца в земле оповещаая того спасителя моего, кто и освободил меня из могилы.

Помню, выползаю я, за чью-то руку уцепившись, а встать не могу, обезножил. И речь потерял, истратив ее на крик нечеловеческий. А избавитель мой неизвестный, вижу, гроб пустой оттаскивает и в землю закапывать начинает.

Я все то наблюдаю, но без осознания. А как же иначе, когда уже и в вечность человек отправился, а потом возьми и возвернись...

Тут луна выходит из облачности и освещает все до травиночки. Полнолуние как раз случилось. И ясно в той бесцветности лунной обозначается мой спаситель. Как разглядел я его, так и откинулся прочь — хоть необычайной густоты растительность завел он на лице, а определенно узнал я в неизвестном спасителе утопленника-соседа своего, казачкиного мужа...

Тут у меня затмение и случилось, и никакой необычности в явлении покойного соседа я не усмотрел, себя перенеся в его сотоварищи на небеса, поскольку только туда в гробах прибывают обитатели земные.

А что тот свет с земным схожий, так это меня только обнадежило, поскольку привичность тамошнего обитания указывала на бессмертие людское, к чему человек всегда готов более, чем к невечности своей.

К тому ж от прежней жизни, как я догадался по видимому окружению, за человеком тянется и все сотворенное на благословенной земле.

И такое сходство никаких характерных изменений обитания не предвещало.

Сосед же мой, спокойный такой, могильный холмик ровняет и табличку, удостоверяющую личность упокоившегося, закрепляет. И приходит мне мысль, что неспроста он все то делает; видно, и на том свете правило есть, по которому холмик могильный заведен на меня, усопшего, хоть и лежу я в отдалении и ощущаю себя отдельно.

И удостоверяя эту мысль мою, спрашиваю, не узнавая своего задушенного голоса и неожиданно в братья возводя соседа: «Брат, у вас тут все как там?» И указывая вниз, в землю то есть, думая, что обитаем мы сейчас не иначе, как на звездочке неизвестной, какая есть отражение привычности земной в зеркале небесном.

А сосед вдруг сторожко оглядывается, как на какое злодейство готовясь, и руку к губам подносит в жесте молчаливости. Потом кидается ко мне решительно. Надо сказать, что не недомерком хлипким был сосед, кремезным мужчиной — легко меня, обезножившего, поднял и на ноги поставил. И стал-таки я враз устойчиво. Такое исцеление случается, видно, от волнительности.

Потом быстро заталкивает он меня за оградку соседскую, об шиповинки царапая. И показывает рукой, мол, гляди... Я зрение усиливаю в сторону моей могилки, скрытой за вьюнками колючками.

А от могилки уже летят звуки рыданий горестных, и темная фигура на коленях стоит и хитается из стороны в сторону. И причитания, как по-писаному, несутся, будто заученные слова воспроизводит коханая моя...

Из тех слов понимаю я, что виноватит она себя: мол, силу погибельную женскую носит в себе, третьего мужчину на погост отправляет. Гибель для других через коханья ее справляется — как кого до себя приблизит она, тот и смерть находит скоро. Хоть коханья то или нет, она прежде и не знала, от того лиха ей только страдания и доставались, а вот как развиднелось невзначай и пригрезилось, что начинает и ей любовность открываться, так и отняла земля ту надежду ее. И на колени падает, и холмик мой обнимает неистово.

И мысль быстрая догадливо напоминает мне слова коханой про те ветра невероятные с названием бора, что людей в море затягивают. Не иначе свою боль высказывала она тогда, горестная...

И так негарно мне стало от тех ее обниманий, глянул на соседа своего, а его дрожь бьет сильная такая, что и до меня доходит. А ситуация между мною и соседом обострилась до соперничества, это я и уяснил с возникшей опасливостью.

Тут плакальщица меня жалеть принялась и повторяет среди рыданий — любимый мой — как никогда мне наяву и не говорила. И плачет, руками слезы промокает... Соседа моего лихоманка колотит все страшнее, вижу уже и лицо его блестит маслянисто от слез. И тут вздыхает он тяжело и начинает повторять с необычайной волнительностью: — «Прости...»

Как услышал я то слово, так и засочувствовал, и утихомирить его в волнении пожелал — только как, когда слова никакие на ум не приходят.

Пока искал я те слова, возрождаясь для дальнейшей жизни и объяснения с коханой моей, напрасно горюющей, сосед оборачивается до меня и голосом нетвердым с печалью необыкновенной говорит:

— Ты прости меня, зла тебе я желал, а желание мое в дело оборачивается помимо меня... знаю за собой такую силу, а не сдержался, прости...

ни при чем — здесь ты, когда она... так что прости и выполни последнюю мою просьбу — поклянись не говорить никому, что видел меня...

Только я хотел обнадежить его, вдохновляясь приливом жизненности, как он дальше ведет:

— Да ты и сам забудешь... понимаешь ведь, что так для тебя лучше будет.

И усмехается уже язвительно, враз и лихоманка его прошла. А потом согбенно, ховаючись за кустами, исчезает в темени ночи, будто и впрямь не было тут его. Но, видно, как ни тихо действовал сотоварищ мой, а услышала его плакальщица, крик пронзительного страха издала и, слышу, убегает.

Тут и я за ней, только б не упустить. А она от погони спасается, скачет через гробнички неуважительно, цветочки могильные топчет. И я за ней. Пока не бухнулась она прямо на коленки да не стала на памятник чей-то молиться и крестить воздух вокруг себя, будто от нечистой силы отбиваясь. Как увидел я лицо ее все в слезах и волнении ужасающем, так и кинулся к ней со всей страстностью...

И возвращались мы с кладбища уже парой...

Идем по ночи, переулками городищенскими, меж темными домами, а я нет-нет и обернусь назад, все мерещится тень сторожкая сзади, и догадаться нетрудно, кто за нами может следовать. Хоть на то воля была его, соседа моего кощунственного, исчезнуть ему бесследно для всех — и ничего я не сказал вдове его не овдовевшей, а все ж неуверенность есть в правильности того. И думается, что может вернуться неожиданно ее супруг загадочный, что, может, он умысел какой преследует таким оборотом дел. От него ожидать можно всякой непредвиденности, когда только одна злонамеренная ревность его силой своей кощунственной меня до того света довести могла. Хорошо хоть опомнился он вовремя, до окончательности силу свою упыриную не довел...

Уже и до калитки садыбы соседской дошли мы согласной парой, и тут обернулся я, а он — Упырь — чернеет под фонарем, тень свою чуть не до ног моих кидает. И так негарно мне стало, преступность свою почувял в том, что иду сейчас с женой его венчанной в дом его...

А через миг никого и не было под тем фонарем золотавым, как привиделось все... И закрыл я калитку, и пошел к коханой моей, что уже двери дома отворяла.

А то, как мы до утра дожили, то наша с ней святая тайна...

Только как рассвет занялся, распростились мы с коханой моей навеки, такая ее воля была...

И вернулся я в дом свой, где супруга меня и не ожидала с того света... И как мы встретились, и про что договорились, то уже тайна наша с ней...

Вскорости Казачка и вовсе исчезла куда-то из наших мест... А дом ее с усадьбой пришлое сербы сторговали...

Я как гляну на тот дом, так и вспомню все... Особливо, когда осенний день к ночи преломляется. В тех сутенках выхожу тогда из дома, по переулкам нашим хожу-брожу, будто водит меня сила какая, и бурление в душе моей неостановимое... И вспоминается тогда сосед мой, упыриную силу унаследовавший — может, и его то бурление водило кругами бесцельными, пока к делу какому не пристроило... И не иначе как ищущу я то дело неизвестное, и на всякую женскую тень волнуясь, будто она, коханая моя, и посеючас блуждает тут с душой своей сутенковой и неизъяснимой.